

**ФРИДРИХ  
НИЦШЕ**

---

*По ту сторону  
добра и зла*

*Прелюдия  
к философии  
будущего*



Санкт-Петербург

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Если мы предположим, что истина есть женщина, то разве мы не имеем основания подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо знали женщин и что ужасающая серьезность, неловкая навязчивость, с которой они до сих пор приступали к истине, были неумелыми и неподобающими средствами для того, чтобы расположить к себе женщину? И она действительно не поддавалась соблазну — и вот всякого рода догматика стоит теперь огорченная и обескураженная. Если она только вообще еще стоит! Есть насмешники, которые утверждают, что она упала, что вся догматика лежит во прахе, более того, что вся догматика находится при последнем издыхании. Строго говоря, мы имеем полное основание надеяться, что все догматическое умствование в философии, какой бы торжественный и авторитетный вид оно ни принимало, было лишь все-таки детской игрой и азбукой мышления, и весьма близко, может быть, то время, когда люди снова поймут, чего, собственно говоря, достаточно было когда-то для того, чтобы положить фундамент тем возвышенным и абсолютным философским сооружениям, которые до сих пор возводили догматики, — какого-нибудь народного поверья из незапамятных времен (как, например, суеверие души, суеверие субъективного «я», которое и до

сих пор еще не перестало бесчинствовать), может быть, игры слов, грамматической ошибки или смелого обобщения очень узких, очень личных, слишком человеческих фактов. Будем надеяться, что философия догматиков была лишь обещанием на тысячелетия вперед, каковым еще в более раннюю эпоху была астрология, на служение которой положено было, может быть, более труда, денег, остроумия, терпения, нежели для какой бы то ни было действительной науки до сих пор. «Ей и ее сверхъестественным» претензиям в Азии и Египте мы обязаны грандиозным стилем архитектуры. По-видимому, для того, чтобы великое могло со своими вечными требованиями запечатлеться в сердце человечества, оно не должно прежде пройти по земле в форме отвратительных и страшных чудовищ: одним из таких чудовищ была догматическая философия, как, например, учение Веданты в Азии и платонизм в Европе. Но не будем неблагодарны ей, хотя мы и должны сознаться, что самое худшее, положительное и опасное из всех бывших до сих пор заблуждений было заблуждение догматика, а именно выдуманное Платоном учение о чистом духе и добре в самом себе. Теперь, когда это заблуждение побеждено и Европа может вздохнуть свободно от этого кошмара и, по крайней мере, пользоваться здоровым сном, мы, задача которых заключается в бдении, наследники всей той силы, которую развила борьба против этого заблуждения. Правда, это значило перевернуть истину вниз головой и отречься от перспективности, от основного условия всей жизни и говорить о душе и добре так же, как Платон. Мы, подобно врачу, можем спросить: «Откуда взялась такая болезнь у Платона, этого прекраснейшего

представителя древности? Неужели его испортил злой Сократ? Не был ли Сократ действительно совратителем юношей и не заслужил ли он цукуты?» Но борьба против Платона или, чтобы выразиться понятнее и «популярнее», борьба против христианско-церковного ига тысячелетий, так как христианство есть только платонизм «для народа», произвела удивительное напряжение ума, какого еще не было на земле; с таким туго натянутым луком можно метить в самые отдаленные цели. Правда, что европеец считает это напряжение временным злом и уже два раза в широких размерах старался ослабить тетиву, один раз с помощью иезуитизма, другой раз посредством демократического просвещения. В последнем смысле с помощью свободы печати и чтения газет, пожалуй, действительно достигли бы того, что дух не чувствовал бы сам себя бедствием! (Немцы выдумали порох — с чем их и поздравляю! Но они расквитались за это изобретением печати.) Мы же, не принадлежа ни к иезуитам, ни к демократам, мы добрые европейцы и свободные, очень свободные умы, — мы все еще чувствуем и все бедствие духа, и все напряжение лука, а может быть, и стрелу, задачу, кто знает? Цель...

*Сильс-Мария, Верхний Энгадин*

*Июнь 1885*

## ГЛАВА I

# О ПРЕДРАССУДКАХ ФИЛОСОФОВ

1. Стремление к истине, которое побудит нас еще ко многим отважным поступкам, та знаменитая достоверность, о которой философы до сих пор говорили с таким благоговением, — каких вопросов не задавали нам они? Какие удивительные, мучительные, сомнительные вопросы! Это уже старая история, а между тем кажется, будто она только что началась. Удивительно ли, что мы наконец теряем доверие, теряем терпение и с досадой отворачиваемся, что мы, в свою очередь, у этого сфинкса учимся задавать вопросы? Кто же здесь, собственно, задает нам вопросы? Что такое в нас самих стремится «к истине»? Действительно, мы долго останавливаемся перед вопросом о причине этого стремления — до тех пор, пока мы не остановились окончательно перед еще более глубоким вопросом. Мы спросили о ценности этого стремления. Положим, мы хотим истины: почему же лучше не лжи? Не сомнения? Не незнания? Проблема ценности истины предстала перед нами — или мы сами подошли к этой проблеме? Кто из нас здесь Эдип? Кто Сфинкс? По видимому, здесь сходятся вопросы и вопросительные знаки?.. И поверит ли кто, что в конце концов нам будет казаться, что эта проблема еще никогда не была поставлена перед нами — что мы увидели ее впервые, впервые отважились на нее?



Ибо при этом есть риск, более которого, может быть, и не существует.

2. Как могло бы что-либо возникнуть из своей противоположности? Например, истина из заблуждения? Или стремление к истине из стремления к обману? Или самоотверженное действие из корыстолюбия? Или чистое, ясное, как свет солнца, воззрение мудреца из жадности? Такие явления невозможны: кто мечтает об этом — глупец, еще хуже того. Предметы высшей ценности должны иметь иное, собственное происхождение — из этого непрочного, обманчивого, ничтожного мира, из этой пуганицы безумия и жадности их вывести нельзя. В недрах бытия, в незыблемом, скрытом божестве, в «вещи в себе» — вот где «должны лежать их основы, и более нигде!» Этот способ суждения составляет тот типичный предрассудок, по которому можно узнать метафизиков всех времен; этот род оценки находится в глубине всех их логических выводов, из этой «веры» своей они стараются достигнуть «знания», чего-то, чему в конце концов торжественно дается название «истины». Основное верование метафизиков есть вера в противоположность ценностей. Даже самым осторожным из них не пришло в голову усомниться уже на пороге, там, где это было особенно необходимо, даже тогда, когда они дали себе слово «*de omnibus dubitandum*»<sup>1</sup>. Мы можем сомневаться, во-первых, в том, что вообще существуют противоположности, и, во-вторых, что те популярные оценки и противоположные ценности, на которые метафизики наложили свою печать, — может быть, только оценки переднего плана, ближайшие перспективы,

---

<sup>1</sup> Сомневаться во всем (*лат.*).

видимые к тому же из-за угла или снизу, — лягушечьи перспективы, как говорят художники? При всей ценности, которую может иметь истинное, правдивое и бескорыстное, возможно, что кажущемуся стремлению к обману, к себялюбию и жадности следовало бы для жизни вообще приписать высшую и более основательную ценность. Возможно даже, что ценность тех хороших и уважаемых вещей заключается именно в том, что они фатальным образом сплетены, связаны, сродственны и, может быть, одинаковы по своей сущности с этими дурными и, по-видимому, противоположными вещами. Может быть! Но кто же захочет заняться такими опасными «может быть»? Для этого следует подождать появления новой породы философов, таких, которые отличаются другими, противоположными вкусами и наклонностями, нежели те, которые были до сих пор, — философов опасного «может быть» в полном смысле слова. И, серьезно говоря, я вижу появление таких новых философов.

3. После того как я долго следил за философиями и наблюдал их, я сказал себе: нужно бóльшую часть сознательного мышления причислить еще к функциям инстинкта, даже и по отношению к философскому мышлению; здесь надо переучиваться так же, как люди переучивались относительно наследственности и «прирожденного». Насколько самый акт рождения мало принимается во внимание во всем предыдущем и последующем ходе наследственности, настолько же мало «самосознание» в каком-либо положительном смысле может быть противопоставлено инстинктивному мышлению: бóльшая часть сознательного мышления философа тайно управляется его инстинктами, которые сильно ведут его по известным путям. За всякой

логикой и ее кажущейся самостоятельностью движения скрывается также оценка, точнее говоря, физиологические требования ради сохранения известного рода жизни. Например, что определенное ценится более неопределенного, обман ценится менее «правды», — подобные оценки, при всей своей регулирующей важности для нас, суть только оценки переднего плана, известного рода *plaiserie*<sup>1</sup>, которая, пожалуй, нужна для сохранения таких существ, как мы. Предположив, что «мера вещей» не есть именно человек...

4. Ложность суждения еще не может служить нам возражением против суждения; в этом отношении наш новый язык кажется наиболее непонятным. Вопрос заключается в том, насколько оно способствует развитию, сохранению жизни, сохранению рода, может быть, даже зарождению рода. И мы принципиально склонны утверждать, что самые ложные суждения (к которым синтетические суждения принадлежат а priori<sup>2</sup>) для нас самые необходимые, что без допущения логических фикций, без измерения действительности чисто вымышленным миром абсолютного, самому-себе-равного, без известной подделки мира посредством числа человек не мог бы жить. Отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни, отрицанием ее. Признать неправду необходимым условием жизни — это значит, конечно, оказывать опасное сопротивление обычно высоко оцениваемым чувствам, и философия, отваживающаяся на это, уже одним этим ставит себя по ту сторону добра и зла.

---

<sup>1</sup> Глупость (*фр.*).

<sup>2</sup> Независимо от опыта, букв. «до опыта» (*лат.*).



5. Смотреть на всех философов отчасти с насмешкой побуждает нас на то, что мы поминутно видим, до чего они невинны, как часто и как легко они ошибаются и заблуждаются, — одним словом, видим их детскую наивность и ребячество, а то, что они поступают не всегда честно и в то же время они все вместе поднимают добродетельный гвалт, как только, хотя бы издали, затрагивается проблема правдивости. Все они делают вид, будто достигли своих собственных мнений и открыли их путем саморазвития холодной, чистой, божественно невозмутимой диалектики (в отличие от мистиков всех сортов, которые честнее, но и глупее их и говорят о «вдохновении свыше»); тогда как, в сущности, они с помощью подтасованных оснований защищают предвзятый тезис, выдумку, «внушение свыше», большей частью отвлеченным способом созданное и профильтрованное желание сердца. Все они адвокаты, только не хотят носить эту кличку, и даже большей частью хитрые защитники своих предрассудков, которые они называют «истинами». Они очень далеки от той храбрости совести, которая признается именно в этом, очень далеки от той храброй порядочности, которая высказывает это, — для того ли, чтобы предостеречь друга или недруга, на зло ли другим или в насмешку над собой. Натянутое и благонаправное лицемерие старика Канта, с которым он нас заманивает на обходные диалектические пути, ведущие или, скорее, заманивающие к его категорическому императиву, — это зрелище вызывает у нас, избалованных, улыбку, и нам очень забавно наблюдать тонкие уловки старых моралистов и проповедников морали. Припомним также тот фокус в математической форме, в который

Спиноза, как в панцирь, заковал и замаскировал свою философию — «любовь к своей мудрости», по справедливой и верной оценке выражения, — чтобы этим сразу запугать противника, который осмелился бы бросить взор на эту непобедимую деву, Палладу-Афину. Сколько собственной трусости и несостоятельности скрывает уединенный больной под этой маской!

6. Мало-помалу я уяснил себе, чем была до сих пор всякая большая философия: это исповедь ее автора, нечто вроде невольных и бессознательных мемуаров; я понял также, что нравственные (или безнравственные) намерения каждой философии составляли истинный зародыш, из которого возникло все растение. Хорошо (и умно) для объяснения того, как составились самые отдаленные метафизические суждения философа, предварительно спросить: какую он хочет вывести из этого мораль? Поэтому я не думаю, чтобы источником философии было «побуждение к познанию», но что здесь, как и всюду, другое побуждение воспользовалось познанием (и ошибкой!) как орудием. Кто старается распознать, насколько основные побуждения человека именно в этом случае проявляют свою деятельность как вдохновляющие гении (или демоны), тот найдет, что все они уже прежде занимались философией и что каждое из них считало именно себя охотнее всего конечной целью бытия и полноправным господином всех остальных побуждений. Каждое побуждение властно и как таковое пытается философствовать. Разумеется, с учеными, с людьми, посвятившими себя науке, дело обстоит, может быть, иначе — «лучше», если хотите: там действительно, пожалуй, есть нечто вроде побуждения к познанию; какой-нибудь

маленький самостоятельный механизм, который, будучи хорошо заведен, храбро работает без того, чтобы другие побуждения ученого принимали в этом участие. Собственно «интересы» ученого находятся обыкновенно совсем в ином месте — в семье, в зароботке или в политике, почти безразлично, к какой части науки приставлен его маленький механизм и выработает ли из себя «обещающий» молодой работник хорошего филолога или химика, — его не определяет то, что он делается тем или другим. В философе, наоборот, нет ничего безличного; в особенности мораль его служит решительным и решающим показателем того, кто он, то есть в каком порядке, по отношению одних к другим, стоят самые сокровенные побуждения его натуры.

7. Как философы могут быть злобны! Я не знаю ничего более ядовитого, чем шутка, которую позволил себе Эпикур относительно Платона и его последователей; он назвал их *Dionysiokolakes*. Это означает по смыслу слова «льстецы Диониса», то есть прихвостни тиранов и плевколизы<sup>1</sup>. Ко всему этому он еще хочет сказать, что «все это комедианты, у которых нет ничего натурального» (ибо слово *Dionysokolax* было народным прозвищем актера).

В этом-то и заключается собственно злоба, которой Эпикур хотел уязвить Платона. Его раздражала грандиозная манера выставять себя напоказ,

---

<sup>1</sup> Намек на дружбу Платона с Дионисием Младшим, племянником Дионисия Старшего, сиракузского тирана. Каламбур Эпикура строится на почти одинаковом звучании имен Дионисия-тирана и Диониса-бога, так что «дионисоколак», т. е. актер (букв. «льстец Диониса»), преобразуется здесь в «дионисиоколака», т. е. льстеца тирана.



что так хорошо умели делать Платон и его ученики — и чего вовсе не умел Эпикур! Он, старый школьный учитель на Самосе, сидел спрятанным в своем садике, в Афинах, и написал триста книг против Платона — кто знает, может быть, из злости и тщеславия? Целое столетие понадобилось для того, чтобы греки раскусили, кто, собственно, был это садовое божество — Эпикур. Да еще раскусили ли?

8. Во всякой философии есть пункт, в котором на сцену выступает «убеждение» философа, или, говоря языком одной старой мистерии, ADVENTAVIT ASINUS PULCHER ET FORTISSIMUS<sup>1</sup>.

9. Вы хотите жить «сообразно с природой»? О вы, благородные стойки, какой обман слов! Вообразите себе существо такое, как природа, без меры расточительное, без меры равнодушное, без намерений, без внимания к чему бы то ни было, без пощады и справедливости, плодородное и бесплодное, неуверенное, представьте себе безразличие как власть — как могли бы вы жить сообразно с этим безразличием? Жить — разве это не значит хотеть: быть как раз иным, чем эта природа? Разве жить не значит хотеть оценивать, предпочитать, быть несправедливым, ограниченным, отличным от всего другого? И положим, что ваш императив «жить сообразно природе» означает, в сущности, то же, что «жить сообразно жизни», — как бы вы могли этого не делать? К чему делать принцип из того, что вы сами есть и должны быть? В действительности дело обстоит совершенно иначе: между тем как вы с восторгом объявляете, что вычитали канон вашего закона из природы, вы, удивительные актеры, себя

---

<sup>1</sup> Явился прекрасный и сильный осел (лат.).



самих обманывающие, хотите чего-то совершенно противоположного! Ваша гордость хочет природе — даже природе — предписать и привить вашу мораль, ваш идеал, вы требуете, чтобы она была природой «согласно с Стойей», и желали, чтобы все существующее существовало по вашему собственному образцу в качестве непомерного вечного возвеличения и распространения стоицизма! При всей вашей любви к истине, вы так долго, так упорно, так гипнотически-неподвижно принуждаете себя смотреть на природу ложно, то есть стоически, пока вы уже не можете видеть ее иною, а какое-то бездонное высокомерие внушает вам еще сумасшедшую надежду, что, потому что вы умеете сами себя истязать — стоицизм есть самоистязание, — природа также позволяет истязать себя: разве стоик не есть часть природы?.. Но это старая и вечная история: то, что случилось некогда со стоиками, случается еще и теперь, как только какая-либо философия уверует в самое себя. Она всегда создает мир по своему образцу — она иначе не может. Философия — это и есть сама та потребность, то духовное стремление к власти, к «созданию мира», к *causa prima*<sup>1</sup>.

10. Усердие и проницательность — я сказал бы, даже лукавство, с которым всюду в Европе занимаютя проблемой о «действительном и кажущемся мире», заставляет задуматься и прислушиваться, и тот, кто за этим слышит только «стремление к истине», тот не одарен особенно тонким слухом. В отдельных и редких случаях может быть при этом такое стремление к истине, ищущая приключений отвага, тщеславие оставшегося не у дел метафизика, которому в конце концов предпочтут пригоршню

---

<sup>1</sup> Первопричине (*лат.*).

«верного» целому возу прекрасных возможностей. Может быть, найдутся даже фанатики — пуритане совести, которые предпочтут опираться на верное «ничто», а не на неверное «нечто», но это — нигилизм и признак отчаявшейся, смертельно усталой души, как бы ни были храбры с виду действия такой добродетели. Но у более сильных, более жизненных, еще жаждущих жизни мыслителей дело обстоит не так. Становятся во враждебное отношение к кажущемуся и, произнося уже слово «перспективно» с высокомерием, они так же низко оценивают достоверность своего собственного тела, как и достоверность того обмана чувств, который говорит нам, что земля неподвижна, и, по-видимому, с удовольствием выпускают из рук верное достояние (ибо в чем теперь люди более уверены, чем в своем теле?). Кто знает, не хотят ли они, в сущности, завоевать обратно нечто, чем когда-то обладали с еще большей уверенностью, нечто вроде старинной веры былых времен, может быть веры в «бессмертие души», может быть в «старого Бога» — одним словом, понятия, с которыми лучше, крепче и веселее жилось, чем с «современными идеями». В этом есть недоверие к «современным идеям», неверие во все, что создано вчера и сегодня; может быть, к этому примешивается легкое раздражение и презрение, которое не может выносить ту смесь понятий самого различного происхождения, каким теперь является так называемый позитивизм, отвращение более избалованного вкуса к рыночной пестроте и лохмотьям этих жалких философов истины, у которых нет ничего нового и настоящего, кроме этой пестроты. Но в одном, мне кажется, следует согласиться с этими нынешними скептическими врачами действительности и микроскопистами познания: их

инстинкт, гонящий их из современной действительности, непреодолим — что нам до их окольных дорог, ведущих обратно! Самое существенное в них не то, что они хотят назад, а то, что они хотят прочь. Немного более силы, полета, мужества, художественности, и они захотели бы вон — а не назад!

11. Мне кажется, что всюду теперь стараются отвести глаза от действительного влияния, которое имел Кант на немецкую философию, и особенно благоразумно пройдена молчанием оценка, данная им себе самому. Кант прежде всего гордился своими категориями; со своей таблицей категорий в руках он говорил: «Это самое трудное, что могло когда-либо быть предпринято для пользы метафизики». Поймите, только это «могло быть»! Он гордился тем, что открыл в человеке новую способность, способность к синтетическим априорным суждениям. Положим, что он сам себя в этом обманывал; но развитие и быстрый расцвет немецкой философии связаны с этим сомнением и стараниями младших философов открыть нечто еще более горделивое — во всяком случае, открыть «новые способности». Подумаем, это своевременно. Каким образом возможны синтетические априорные суждения, спрашивает себя Кант — и что же он отвечает? Возможны в силу возможности. К сожалению, он отвечает не в двух словах, а так обстоятельно важно и с таким немецким глубокомыслием и вычурностью, что никто не заметил смешной *piaiserie allemande*<sup>1</sup>, заключающейся в подобном ответе. Относительно этой новой способности люди выходили из себя, и восторг достиг своего апогея, когда Кант к тому же открыл еще моральную способность

---

<sup>1</sup> Немецкой глупости (*фр.*).